

18+

СОЛЬ-ДИЕЗ МАЛОЙ ОКТАВЫ



АЛЕКСАНДР ГУДКОВ

Александр Гудков
Соль-диез малой октавы

«Издательские решения»

Гудков А.

Соль-диез малой октавы / А. Гудков — «Издательские решения»,

После крушения экспериментального самолёта гениальный инженер оказывается прикован к капсуле жизнеобеспечения. Корпорация готова спасти его тело, но взамен желает получить его спящий разум — единственный ключ к тайне дешёвой энергии. В игру вступают видярицы — девушки, обученные входить в чужие сны. Лите, способной не просто видеть, а чувствовать чужую боль, предстоит пройти по лабиринту травмы и тайны, чтобы отличить спасение от насилия.

© Гудков А.

© Издательские решения

Содержание

СОЛЬ-ДИЕЗ МАЛОЙ ОКТАВЫ	6
ПРОЛОГ	7
ЧАСТЬ 1: ОСНОВАНИЕ	10
ГЛАВА 1. Падение «Икара»	10
ГЛАВА 2. Наследство	13
ГЛАВА 3. Посейдон	19
ГЛАВА 4. Смотритель	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Соль-диез малой октавы

Александр Гудков

© Александр Гудков, 2026

ISBN 978-5-0070-2913-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Данная книга является художественным произведением, не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет и не пропагандирует их. Книга содержит изобразительные описания противоправных действий, но такие описания являются художественным, образным и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий. Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет. Пожалуйста, обратитесь к врачу для получения помощи и борьбы с зависимостью.

СОЛЬ-ДИЕЗ МАЛОЙ ОКТАВЫ

«Самый глубокий сон всё ещё остаётся сном. Наша верность — тому, кто видит его».
— Служебный Томос «Видярицы».

ПРОЛОГ

Слой первый: Камень.

Рассвет опустился на тропу серым, нейтральным фоном. Освещение позволяло различать лишь выщерблины в скале — ни цвета, ни объёма, ни направления тени.

Пещера впустила их глотком воздуха, превратив атмосферу в бинарный код: «внутри» и «снаружи». Каменная пасть карапала одежду острыми выступами, считывая фактуру непрощенных гостей.

Жаровни в нишах лишь слегка подсвечивали стены, не давая пришедшим разбить головы о возникавшие на пути сталактиты. Спирали на базальте не отражали свет. Они работали как закольцованные логи, открывающие доступ к тайне. Сканер сознания считывал их и зависал, попадая в бесконечный цикл перезагрузки.

В центре геометрия спорила с геологией. Плита — параллелепипед с точно выверенными гранями, врезанный в пол. Чужеродный. Принятый пещерой после долгого сопротивления. На углах — микроскопические сколы, оставленные примитивным инструментом.

Девушка в сером комбинезоне легла на плиту. Камень принял тепло её спины, взамен отдавая жар всех тел, лежавших здесь до неё.

Горсть брошенной на угли сухой смеси, и, дым потек в ноздри. Мир исчез.

Слой второй: Плоть.

Первым включилось осязание.

Чужая кожа: тонкая, горячая, липкая от испарины. Чужие пальцы, вцепившиеся в её запястье с силой, не соответствующей миниатюрным пропорциям. Длинные ногти отпечатались красными полумесяцами.

Лита знала: это не её кожа, не её запястье. Но каждой мышцей, каждым нервом она чувствовала иное.

Ты здесь. Ты — это. Это — ты.

Она попыталась отдернуть руку — не вышло. Чужие ногти впились глубже. Лита почувствовала, как по запястью течёт кровь — тёплая, липкая, чужая. «Отпусти», — хотела крикнуть она. Но голосовые связки не подчинились. Только внутренний, запертый в черепе крик:

Ты — это я. Я — это ты.

Вторым включился слух.

Сердцебиение. Не одно — сразу два, наложенные друг на друга, пытающиеся синхронизироваться, сбивающиеся, расходящиеся в противофазу. Одно — её, шестьдесят ударов в минуту. Ровно, как метроном. Второе — аритмичное, с паузами, после которых сердце пускается вскачь, пытаясь догнать упущенное время.

Кто-то умирал.

И посреди этой аритмии — контакт. Чужая воля, входящая в её кровоток, как физическая субстанция. Лита ощущала, как чужое намерение проходит через сонную артерию, сворачивает в капилляры, оседает в синапсах.

Третьим включилось зрение.

Лита увидела женщину. Она стояла на краю пропасти, глядя вниз. Туман, ветер, горькая трава. Ветер шевелил её волосы — русые, с первой сединой у висков. Женщина обернулась.

В глазах — война!

— Мария... — имя пришло ниоткуда, вплавленное в камень этого места. Оно обожгло язык, как нашатырь.

Женщина не ответила. Она шагнула в пропасть, потянув гостью следом.

Падение длилось секунду. Или вечность. Но учатившийся пульс схватил Литу за горло и рванул вверх, вышвыривая обратно.

Этот странный промежуток времени вряд ли поддавался фиксации электроникой. Щель. Точка входа.

Когда-то давно эта женщина шагнула в пропасть. Но перед тем как она выбросила видярицу прочь — на периферии марева этого мира мелькнул... Интерес.

Слой третий: Чувство.

Он касался поверхностно, пунктирно, дискретно. Касание — отрыв. Касание — отрыв.

Профессиональное любопытство, считывающее агонию как статистику.

Кто-то наблюдал.

Не из сна. Не из памяти Марии. Извне. Чёткий, пунктирный, методичный ритм, который она узнала бы из тысячи. Им работают старые диагносты, когда уже знают диагноз, но хотят посмотреть, что происходит с пациентом. Стандарт корпорации.

Наблюдатель не вмешивался. Ему не нужно было вмешиваться. Ему нужно было, чтобы процесс продолжался, генерируя всё новые массивы информации о том, как сознание покидает тело, не закончив работу.

Лита задержала дыхание во сне. Попыталась повернуть голову — посмотреть на наблюдателя.

У неё получилось.

На долю секунды она увидела. Не лицо и не фигуру, а вектор взгляда: многоканальный, асимметричный.

Пульс в горле оборвался. Связь погасла, оставив после себя только горечь.

Мир Марии схлопнулся, как стоп-кадр, оставив Литу одну на плите — с температурным следом чужой смерти на спине, с горечью на языке и всплеском интереса, застывшим в памяти видярицы.

Слой четвёртый: Явь.

Девушка открыла глаза.

Рубашка пропиталась потом, оставила на металле влажный след — точный отпечаток её лопаток, позвоночника, ягодич. Волосы прилипли к вискам. Она села. Тугой спазм сжал диафрагму — такой, будто кто-то сдавил рёбра изнутри.

Горечь осталась на корне языка.

Женщина в тёмном платье стояла рядом, глядя на неё сверху вниз. Платье было без единой складки — словно его гладили не утюгом, а временем. Лицо женщины ничего не выражало. Только терпение. Такое, какое бывает у тех, кто уже всё знает и ждёт, когда до остальных дойдёт.

— В системе был сторонний наблюдатель, — голос Литы прозвучал хрипло, с присвистом. Голосовые связки пересохли. — Он считывал петлю. Извне. Стандартный протокол сканирования. Он знал, что мы придём. Ждал. Записывал.

Женщина молчала. Две секунды. Четыре.

— Вероятно, — сказала она наконец.

Одно слово. Не отрицание. Не подтверждение. Констатация факта, который она знала до того, как Лита открыла рот.

— Ты видела его? — спросила женщина.

— Да. — Коротко кивнула ученица.

Женщина просто кивнула в ответ.

Лита почувствовала, как марево от плиты проникает сквозь комбинезон.

— А разве это не меняет паттерн сна?

Женщина протянула руку, призывая ученицу подняться. Не ответила.

Слой пятый: Свет

Колени подгибались. Камень пола уходил из-под стоп, возвращался, снова уходил — эффект после долгого сна, когда вестибулярный аппарат перестраивается с одного мира на другой.

На поверхность поднимались молча.

С каждой ступенькой воздух становился легче, прозрачнее, слаще. Камень уступал место почве, почва — траве, трава — свету. В одном из узких проходов Лита провела ладонью по стене — она была тёплой.

Она остановилась на последней ступени.

Солнце стояло низко, окрашивая склоны в спектральные тона, для которых у неё не было названий. Ветер нёс запах чабреца, нагретой хвои, дальней воды.

Она опустила руку в прореху подкладки комбинезона.

Секундная улыбка, словно солнечный блик, на мгновение смахнула напряжение с лица.

— Он не знает, что я его видела? — спросила она, повернув голову через плечо.

Женщина в тёмном платье стояла за её спиной, шурила глаза глядя на закат. Было непонятно пребывает ли она в задумчивости или недовольна ученицей. А гадать Лите совсем не хотелось.

ЧАСТЬ 1: ОСНОВАНИЕ

ГЛАВА 1. Падение «Икара»

Дед оставил мне кальку — пожелтевшую, пропитанную табаком и машинным маслом. Он звал эту машину «птицей». Не планером, не аппаратом — птицей, будто она дышала ещё до того, как я коснулся первого дюралевого листа. Расчёты не могли подвести. С десятков итераций, вылизанных до рези в глазах, до того предела, где уравнения складывались в узоры. Я сам выгибал и варил лонжероны крыла, помню злое сопротивление металла, запах окарины, вьевшийся в поры, и шипение пота на горячих заклёпках.

Я вдохнул в неё жизнь, извратив чертежи экспериментальной турбиной: импульсной, замкнутого цикла, с плазменным поджигом. Старик твердил, что в этой тяге поселилась ошибка. Я пропускал его слова мимо ушей, списывая на возрастную осторожность. Теперь знаю цену своей глухоты. Птица должна парить в потоке, а не разрывать его.

Что я почувствовал в тот миг, когда небо перестало держать? Сначала закончился воздух. Лёгкие сжались в комок. Адреналин ударил в кровь капсюлем, и кисти рук онемели разом, будто прихваченные льдом.

Отражённые в полированных плоскостях «Икара» облака опрокинулись и стали мутными перевёртышами. Я нёсся в чёрную зыбь моря — первый круг бездны.

Давление на перепонки стало ритмом второго сердца — более властного, чем то, что гнало кровь. Вой реактора я перестал слышать задолго до старта. И был тот самый миг разбега — колючий и сладкий, — когда земля ещё видна в иллюминатор, но уже не властна над массой машины. Мир стянулся в узел прицельной траектории, я скользнул на десять секунд вперёд, срастаясь с гироскопами. Абсолют свободы. Так я думал.

Плазма сорвалась в пляску. Частицы выгрызали полости в пространстве, схлопывались, рождая свет — алый с золотыми прожилками. Кавитация. Я смотрел предсмертный танец материи и ещё не понимал, что запомню его навсегда.

Звук пришёл глухим сырым хрустом из правого борта — с таким треском ломают вмёрзшую в бетон конечность — и сразу визг. Обшивка, которую я так самонадеянно скрутил болтами, тряслась в испуге. Атомы выли на одной ноте, связи рвались, оставляя звенящую пустоту. Моё тело перестало быть телом. Меня молотило о стойки с тупой методичной злобой мясника, ремни превратились в гарроту — они резали плечи, вгрызались в ключицы, оставляя влажные глубокие борозды там, где кожа уступила место сырой плоти. Висок встретился с панелью; кость пошла резонансом, как колокольная бронза. Сознание стёрто. Осталась одна сенсорика: белый шум и незаглушённая боль.

Следом пришла агония: медленное, знающее своё дело выворачивание наизнанку. Изнутри, от самых лопаток, меня разбирали разводным ключом, с хрустом не суставов — самого ядра клеток, там, где заканчиваются термины анатомии и начинается грубая механика. Спина горела, кожа расходилась, выпуская наружу тёплую влажную пульсацию — то, что должно было оставаться сокрытым. Моя оболочка разошлась по швам. Я закричал от боли, тело предало меня.

Затем пришла смерть. Тьма. Но в этой темноте я продолжал видеть. Сердце встало — я узнал по исчезновению пульса в глазницах. Дыхание смялось и затихло. Сознание вытекло из черепной коробки, словно ртуть, и зависло безучастным свидетелем. Танец частиц заполнил всё. Я увидел, как в молекуле воды водород тянется к кислороду — и это было не притяжение. Тоска. Гравитация. Время. Всё — лишь имя для неутолимой жажды соединения. В

центре этого хоровода стояло схлопывание пространства, рождающее энергию из ниоткуда. Я впитывал её и чувствовал ритм. Частоту, на которой время застывает. Музыка без развития — один звук, который длится вечность. Алгоритм, который нельзя записать. Его можно только пережить. Умереть — чтобы запомнить.

Разряд дефибриллятора выдернул меня багром, грубо, без спроса. Сердце забилося судорогой, как двигатель на последних каплях топлива, лёгкие наполнило огнём. Реальность рассыпалась песком в ладонях. Я цеплялся за неё остатками воли, но чем яростнее пытался удерживать, тем быстрее она истончалась, оставляя смутное эхо потери, чувство, что я держал в руках мироздание и разжал пятерню.

Я попытался открыть глаза. Свет, льющийся с потолка — мёртвенно-белый, бил по зрачкам жестоким спектром. Тела своего я не чувствовал, только немую тяжесть там, где раньше были ноги. Люди говорили обо мне в третьем лице, пока меняли катетер. Я слышал цифры, слышал слово «актив». Моя спина, разорванная и сшитая заново, стояла дороже, чем весь этот госпиталь.

Прогноз по двигательной реабилитации — десять-пятнадцать процентов. Прогноз по сохранению когнитивного паттерна — девяносто восемь. Два процента потери, допустимая погрешность, списание. Организм яростно отторгал стандартные нейроинтерфейсы: холод металла у виска, короткое замыкание, железо во рту.

Попытка, ещё одна, отёк, температура, бредовые видения о крыльях. Требовалась ручная калибровка, и времени было достаточно.

Я лежал и смотрел в стерильный потолок, гладкий, без единой зацепки для взгляда. Попытался повернуть голову — не вышло. Шея отозвалась хрустом. Рука на простыне: синие русла вен, карта пересохших рек. Послал сигнал пальцам — тщетно. В темноте сомкнутых век я снова видел небо.

Под лопатками, в точке перехода позвоночника в оголённый нерв, родился зуд. Не боль, а именно зуд — глубинный, ноющий, как заживающий шов. Хотелось разодрать спину, добраться до кости, унять это ощущение, но тело было придавлено трубками, и зуд переплавился в тепло.

Впервые за долгие месяцы мне не снилась авария. Мне снилось детство и дедовы руки. Старик держал камертон, витой, латунный, потемневший от времени. Он коснулся им верстака, и по мастерской поплыл низкий звук, который я ощутил не ушами, а лопатками.

— Ты видел танец?

— Я не помню его.

— Помнишь. Частицы танцуют всегда, Лука. Даже в камне, даже в мёртвом пластике. Но не все движения одинаковы. Та частота, которую ты видел в камере, когда умирал — кавитация, рождающая энергию из пустоты. Это частота, на которой время застывает. Музыка без развития — один звук, который длится вечность. Танец, который заперт сам в себе и не может измениться.

Он развернул камертон в пальцах — медленно, как стрелку прибора — и ударил в третий раз. Звук вошёл не в уши, а куда-то глубже: в грудную клетку, в рёбра, в позвонки. Я почувствовал, как всё внутри отозвалось вибрацией, словно мои кости вдруг стали струной, натянутой между небом и землёй.

— А жизнь — это когда звук меняется, — сказал дед. — Когда в нём появляется трепет надежды. Частица, которая помнит только застывшую музыку, умеет лишь разрушать. Но та, что чувствует следующий тон, способна стать иным. Перестроиться. Запомни это, Лука. Формулу жизни нельзя скопировать, её можно только прожить.

Нэно поднял камертон, повертел в пальцах, поднёс к уху — жест старого настройщика, который давно перестал верить приборам.

— Вот эту ноту, Лука, — он коснулся латуни, и та отозвалась низким, ровным гудом, — слышат спящие. Частота сна, на которой мир кажется понятным, предсказуемым, безопасным.

Он ударил камертон о верстак — резче, выше. Звук рассыпался в тишине, оставив после себя звенящую пустоту.

— А эту — нет. Потому что её не слышат. Её чувствуют. Те, кто готов проснуться, даже если просыпаться больно.

— Я не могу прожить, — мой голос прозвучал глухо. — Я в капсуле.

Дед положил камертон на верстак и шагнул ко мне. Его ладонь легла мне на лоб — сухая, горячая, пахнущая смолой и железом.

— Ты не в капсуле, — сказал он тихо. — Ты в себе. А себя — не запечатать. Вспомнишь танец. Не головой — крыльями.

Он отошёл в полумрак мастерской, и я остался один, но тишина больше не была пустой. В ней звучал тот самый третий тон — частота, которую невозможно удержать, можно лишь отдаться ей, как ветру. Я стоял посреди сна, и под лопатками у меня росло нечто, чему ещё не было названия.

Я проснулся в палате. Когда я выдохнул, то впервые за долгое время не услышал хрипа.

ГЛАВА 2. Наследство

Родители умерли, когда я ещё не умел держать голову. Воспитанием занимался дед. Он никогда не говорил о них. Ни имени, ни голоса, ни обрывка истории. Только однажды — я уже достаточно вырос, чтобы задать вопрос, но ещё не дорос, чтобы вместить ответ, — спросил: где мама и папа?

Нэно долго молчал, строгая доску. Стружка ложилась на пол жёлтыми завитками.

— Разбились. На самолёте.

И всё. Больше я не спрашивал. Но иногда, засыпая, пытался представить их лица. Никогда не получалось. Только две тени на фоне яркого синего неба — размытые, как фотографии, слишком долго пролежавшие на солнце.

Теперь, после всего — после падения, после того как металл пророс сквозь мою кожу, — в голову закрадывались мысли, которые я гнал от себя. Фамильное проклятие — попытки оторваться от земли. Отец разбился. Я разбился. Но дед был жив. Дед строил реакторы, а не самолёты. Дед, который никогда не смотрел в небо дольше, чем нужно, чтобы проверить погоду.

Может, он потому и молчал. Знал: если назвать имя, оно потянет за собой траекторию. А траектория у всех Дворчаков одна — вверх и резко вниз.

Горсть земли тяжело упала на крышку. Сыро, глухо. Звук был окончательным. Он нарушил мерное жужжание силового поля, и на секунду показалось, что поле обиделось, но нет — просто скорректировало частоту, чтобы компенсировать вес.

Артур стоял рядом, почти касаясь полированного корпуса моего экзоскелета плечом. Его дыхание было ровным, но я знал его достаточно долго, чтобы различать оттенки: сейчас он дышал так, как дышат перед прыжком в холодную воду.

— Не верится, что его больше нет.

Я ждал продолжения, но он замолчал. Лишь челюсть сжалась, и дёргалась маленькая мышца на виске — всегда так перед трудным разговором. Артур не умел говорить о смерти. Он умел говорить о ресурсах, о сроках, о коэффициентах. О том, что остаётся. О том, что можно использовать.

Я попытался повернуть голову. Сервомоторы, с их идеальной задержкой, чуть загудели — знакомый звук, ставший таким же естественным, как собственное сердцебиение. На мгновение моё внимание переключилось на группу сотрудников «Посейдона». Они стояли в отдалении, сбившись в плотную кучку — так люди делают, когда обсуждают то, что не предназначено для чужих ушей. Их силуэты расплывались в сером свете, лица были неразличимы. Но обрывки фраз долетали:

— Говорят... да, всё обыскали у старика...

— Это внук...

— ...он же лет двадцать пять вот так.

Стоявший ко мне лицом слегка одёрнул говорившего за рукав и качнул головой в нашу с Артуром сторону. Жест быстрый, почти незаметный — профессиональная осторожность людей, привыкших, что их слова имеют последствия. Артур зло окинул их взглядом. Не сказал ничего. Просто посмотрел. И этого оказалось достаточно — группа рассосалась, разошлась по периметру кладбища, делая вид, что их интересовали исключительно сохранность могильных плит и состояние газона.

Процессия пришла в движение. Люди стали подходить по очереди к гробу. Это длилось по меньшей мере полчаса. Полчаса сырой земли, полчаса приглушённых слов, полчаса лиц,

которые я никогда раньше не видел и, вероятно, никогда не увижу снова. Каждый подходил, бросал горсть, отходил. Некоторые крестились. Некоторые просто стояли, опустив головы. Один мужчина в старом пальто что-то прошептал — я не расслышал что, но его губы дрожали, и он ушёл быстрее других.

За это время Артур уже успел взять себя в руки. Мышца на виске перестала дёргаться. Дыхание выровнялось. Он снова стал тем Артуром, которого знали в кабинетах и переговорных — собранным, холодным, функциональным.

— Профилировку запустили? — спросил он, не глядя на меня.

Я не сразу сообразил: он про системы жизнеобеспечения. Про то, сколько я ещё протяну в этом корпусе без капитального обслуживания.

— На следующей неделе. Пятый привод просит калибровки.

— Шестой контур даёт сбой на длинных циклах, — добавил он механически. — Я видел лог. Надо менять прошивку или сам узел?

— Узел.

Он кивнул. Помолчал. Ветер шевелил его волосы, бросал в лицо мелкие капли дождя, но он не моргал. Смотрел сквозь сырость, сквозь время, сквозь всё, что мешало ему говорить прямо.

— Отец будет через минуту. С ним двое из Совета. Хочешь, я их перехвачу?

— Зачем?

Артур повернулся ко мне. Впервые за полчаса. Глаза красные от ветра.

— Затем, что разговор будет не о том, что мы его потеряли. — Он кивнул на гроб. — А о том, что у нас осталось.

Где-то наверху, над кладбищем, низко прошёл дрон. Не полицейский, без опознавательных знаков, с тупым рылом — промышленного образца. Завис на секунду над процессией, камера моргнула красным, и ушёл в сторону города, не снижаясь. Никто не поднял головы. Кроме Артура. Он молча проводил его взглядом.

Я ждал. Артур не говорил просто так. Каждое его слово было выверено, каждая пауза — рассчитана. Он разговаривал как адвокат, который заранее знает, что проиграет дело, но обязан сделать вид, что шанс есть.

— «Икар». Вчера утвердили.

— Полная архивация?

— Да. Нейрослепок.

— Я читал предварительные данные. Там выход за пределы погрешности выше допустимого.

— Лука, главный инженер теперь ты. Сможешь спроектировать новую архитектуру? Есть понимание процессов гиперсна?

Уговаривал... Приказывать было бесполезно: корпорация не могла меня уволить, не могла наказать, не могла даже отключить от системы жизнеобеспечения — слишком дорогой актив. Но уговаривать — могла. Через Артура. Через дружбу. Через ту самую связку, которую никто не называл контрактом.

Возникло ощущение фатальности моего положения. Не безвыходности — именно фатальности. Как будто всё, что со мной происходило, было predetermined задолго до моего рождения, и я только разыгрывал чужую партию, делая вид, что выбираю ходы.

— Но без оператора высокой квалификации мы не выйдем на рабочий цикл. Нужен человек, который чувствует поле. Который читает лимбику напрямую. Не по графикам, не по цифрам — по телу, по дыханию, по тому, как дрожит голос там, где слов уже недостаточно.

— Ты нашёл такого?

Он ждал моего вопроса. Артур всегда отличался смекалкой: вопросы — это, в итоге, согласие. Тот, кто спрашивает «как», уже сказал «да» на вопрос «надо ли».

— Помнишь доктора Ивошевич, с нейропсихологии?

— Нет. Из нашего университета?

— Да, у неё есть несколько дипломированных специалистов. Наша задача — выбрать одного.

— Для чего?

— При помощи специальных модулей мы сможем соединить ваши нейроимпульсы. Специалист скоординирует необходимое течение сна.

Артур поправил автотон на запястье — латунный браслет, который корпорация называла «умными часами», а сам Артур тихой исповедью. Браслет писал каждое слово, каждый сбой пульса, каждую паузу, в которой пряталась ложь. Палец привычно лёг на чёрный кабшон, будто на чётки.

— На выходе — полная копия твоего сознания. Резерв.

— А если я не хочу, чтобы у меня был резерв?

Артур с минуту смотрел на меня. Снова перевёл взгляд на гроб. На мокрую землю. На силовое поле, которое продолжало жужжать на своей нижней частоте, экономя энергию для тех, кто ещё дышит.

— Лука. Твой дед оставил уравнения. Но это как ноты без дирижёра. Ты — единственный, кто слышит музыку плазмы. «Посейдон» хочет записать эту музыку на плёнку, чтобы воспроизводить на заводах. Ты сейчас единственный носитель технологии гидролиза. Не патента, не документации — технологии. Она в тебе. В том, как твой мозг обрабатывает задачи, в мышечной памяти, которой у тебя уже нет, но синапсы помнят. Если ты откажешься — они всё равно это сделают. Только без тебя. Без калибровки. Без контроля.

— И что тогда?

— Тогда ты — исходные данные. А исходные данные не спрашивают. Их считают.

Я посмотрел на гроб. Дождь всё так же моросил, поле гудело на нижней частоте — мой ложемент сэкономил энергию. Энергию, которая когда-то была моей. Теперь она принадлежала корпорации. Как и всё остальное.

— Сколько понадобится времени для разработки оборудования интеграции? — спросил Артур.

— До полугода. Я пока даже не представляю как... ещё полгода на испытания и производство.

— Это долго. — Он поморщился. — Но нам всё равно надо место подготовить, спецов отобрать. Ты главное начни. Думай, как это сделать.

— Хэйло ещё не научился читать мысли, — огрызнулся я. — А руками двигать я не могу.

— Значит, думай. Головой. А я буду приезжать, записывать.

Я хотел сказать, что это бессмысленно, но промолчал. Артур смотрел на меня с той смесью надежды и вины, которую я не мог расшифровать.

— Хорошо, — сказал я.

Он кивнул. Достал руки из карманов — они были в земле, он забыл отряхнуть. Посмотрел на ладони, поморщился, вытер о плащ.

— Пойду перехвачу отца. Скажу, ты устал.

— Я не устал.

— Знаю. Но так мне проще.

Он повернулся и пошёл по мокрой дорожке, не оглядываясь. Его силуэт растворялся в серой пелене дождя — сначала потерялись черты лица, плечи. Вся фигура стала просто тенью среди других теней.

Я остался один. Дождь застучал по крышке гроба, по моим титановым пластинам. Два кокона. Две формы сохранения — окончательная и условная. Экзоскелет, уловив долгую непо-

движность, мягко пискнул, предложив вернуться к транспорту. Я отклонил команду, глядя на холм темнеющей земли.

Дождь усиливался, смывая следы Артура. Но его слова уже были загружены в меня, как вирус. «Думай. Головой».

Я закрыл глаза. Память выбросила меня из серого дождя в жёлтый свет аудитории. Я не знал, было ли это наяву или приснилось. Но разницы уже не было.

Аудитория двести четырнадцать Подгорицкого университета представляла собой пространство, где время застыло примерно в том же агрегатном состоянии, что и препарированная лягушка в соседнем кабинете биологии. Потолок был покрыт топографией протечек — возможно, это была единственная правдивая карта в этом здании. Парты хранили на себе историю студенческого творчества: выцарапанные формулы, имена, неприличные рисунки, которые стёрлись до такой степени, что стали абстрактным искусством.

Я сидел у окна. Если бы кто-нибудь спросил меня, почему я смотрю на доску с таким отсутствующим видом, я бы ответил, что слушаю, как материя разговаривает сама с собой на языке сопромата. На самом деле я медитировал на уравнение Бернулли, пытаясь понять, где профессор ошибся в коэффициентах. Профессор ошибался практически всегда — это был его способ оставлять автограф на реальности.

Высокий смуглый малый влетел в аудиторию, когда стрелка часов совершила пятнадцатиминутный акт неповиновения учебному плану. Он двигался с той особенной уверенностью, которая бывает у людей, чей отец владеет половиной побережья, а вторая половина должна ему.

От него пахло дорогим одеколоном — той специфической химией, которой пахнет от только что напечатанных чертежей: смесь аммиака и надежды, что на этот раз всё получится.

Он плюхнулся рядом со мной, и стул под ним издал звук, похожий на победный сип тюленя.

— Бранкович, — представился Артур, даже не взглянув на меня. — Оpozдал. Доказывал одному мумифицированному экземпляру, что мой проект — не просто студенческий бред, а будущий прорыв в энергетике.

— Дворчак, — я также не глядя протянул руку.

— Знаю. — Он с интересом посмотрел на мой блокнот. — Что, электронике не доверяешь?

В моём блокноте было чисто. Это не значило, что я игнорировал преподавателя. Просто давно понял, что чернила — иллюзия памяти. Настоящие заметки остаются в той части сознания, которая не подлежит проверке на плагиат.

Артур ткнул пальцем в девственно белый лист.

— Похоже, и бумаге тоже.

Я не ответил. Смотрел на доску, где профессор как раз подставлял числа в уравнение. Ошибка во втором коэффициенте. Если он сейчас доведёт до конца, конструкция рухнет на пятой секунде виртуального полёта.

— Ошибка, — сказал я вслух.

— Где?

— Второй коэффициент. Он берёт единицу, а нужно ноль восемьдесят семь. Иначе крыло отвалится.

Артур перевёл взгляд на доску. Прищурился, посмотрев на меня:

— Ты это в уме посчитал?

— Дед научил. Говорит: цифры врут, если не чувствуешь железо.

— Познакомишь с ним?

Я повернулся к нему. Впервые за весь разговор — прямо.

— Зачем тебе?

— Хочу понять, как это делается. Не по учебникам. Руками.

Он сказал это без усмешки. Серьёзно. И я вдруг понял, что этот мажор в дорогом пиджаке, от которого пахнет офисом его отца, на самом деле хочет того же, что и я: прикоснуться к настоящему.

— Завтра после пар. Ангар в Доброте. Будет холодно, грязно, и Нэно будет ворчать.

— Я приеду.

— Учти: там не дворец.

— Я не за титулом еду.

Он улыбнулся. Впервые — без сарказма, без позы. Просто улыбнулся, как человек, который нашёл то, что искал.

На следующий день, после пар, Артур подогнал машину к главному входу. Серебристый «мерседес» с тонированными стёклами смотрелся на фоне университетского крыльца как инопланетный корабль, случайно приземлившийся не в том районе. Студенты оборачивались, кто-то присвистнул, кто-то достал телефон.

— Серьёзно? — спросил я, кивая на авто.

— Не начинай, — отмахнулся Артур. — Садись давай. И показывай дорогу.

Трасса в Доброту вилась вдоль побережья. Город кончился быстро, уступив место скалам, соснам и серой ленте асфальта, которая то подбиралась к самой воде, то уходила в тоннели, пробитые в известняке. Артур молчал и только смотрел по сторонам. Вёл машину аккуратно, без лихачества.

— Красиво, — сказал он наконец. — Я здесь почти не бывал. Всё время в Подгорице, в Белграде, в кабинетах. Не думал, что так близко — и так по-другому.

— Просто здесь нет заводов, — ответил я. — Пока нет. Только море, скалы и несколько домов, которые стоят здесь ещё с прошлого века.

— Почему Нэно решил уехать из центра?

— Дед приехал сюда после аварии. После того, как родители разбились. Говорит, хотел быть ближе к земле.

Ангар нашёлся за поворотом, сразу за старой церковью. Ржавый, с пробитой крышей и выбитыми стёклами под самым потолком. Рядом громоздились штабеля досок, контейнеры, какой-то металлолом — весь этот визуальный шум, который обычно отсекают архитекторы, но который и составляет настоящую жизнь побережья.

— Что за музыка? — усмехнулся Артур. — Он у тебя нормальную не слушает что ли?

— Бах, — смутился я. — Он разную слушает. Но это «Agnus Dei». Дед говорил, именно эта музыка натолкнула его на открытие. Уж не знаю как. Но спорить с ним бесполезно — проиграешь.

Я потянул тяжёлый засов, и дверь со скрипом поехала в сторону. Внутри было темно, тепло и тесно — та особенная теснота мастерской, где вещи не ждут своего часа, а возникают прямо сейчас.

Артур вошёл и замер.

В центре ангара, под одной из потолочных ламп, стоял скелет небольшой машины. Лёгкие фермы из дюрала. Нервюры, вырезанные вручную. Обшивка, натянутая на половине крыла. Самолёт. Незаконченный, но уже живший той особенной жизнью, которая бывает у вещей, сделанных руками, а не собранных на конвейере.

— Это... — Артур не договорил. Подошёл ближе, протянул руку, провёл пальцами по холодному металлу. — Вы сами?

— Сами, — раздался голос из глубины ангара.

Из-за крыла вышел Нэно. Высокий, жилистый, с ладонями, на которых навсегда застыла олифа. Посмотрел на гостя цепко, изучающе.

— Молодой Бранкович? Как отец поживает?

— Он студент, — ответил я. — С моего курса. Инженер.

Артур почему-то уклонился от ответа. Просто стоял и смотрел на самолёт.

— Ну смотри, — сказал Нэно после паузы. И ушёл обратно в мастерскую, бросив через плечо: — Чайник на плите. Если замёрзнете — наливайте. Только кружки сполосните сначала.

Артур обошёл аппарат кругом. Смотрел на узлы, на сварные швы, на то, как крыло крепится к фюзеляжу. В его глазах было то особенное выражение, которое бывает у человека, впервые увидевшего, как устроена вещь, которую он до этого знал только по картинкам и расчётам.

— Вот тут, — сказал он наконец, указывая на место сочленения. — Я про это и говорил. В турбулентности нагрузка распределяется неравномерно. Если узел жёсткий — он передаёт вибрацию на фюзеляж. Если слишком мягкий — крыло начинает играть.

— Знаю, — я перебил его на полуслове. — Мы усилили. Идём, покажу.

Мы просидели в ангаре до вечера. Артур задавал вопросы — сотни вопросов. Поначалу я отвечал односложно, втянувшись, уже сам показывал, объяснял, чертил на обрывках бумаги. Дед иногда подходил, смотрел, бросал короткие замечания — «не так», «криво», «думай» — и уходил обратно к верстаку.

— Как назвали? — спросил Артур, когда уже собирались уходить.

— Икар.

Артур посмотрел на каркас, на торчащие нервюры, на необшитое крыло.

— Полетит?

— Должен. Дед поможет. Без него я бы ничего не собрал.

Нэно, возившийся у верстака, поднял голову.

— Не поможет, — буркнул он. — Сам собирай. Моё дело — подсказать, где руки криво приложил. А летать — тебе. Крылья — твои. И падать — тоже тебе.

Артур улыбнулся. Выходя, обернулся.

— Я ещё приду. Можно?

Я вопросительно посмотрел на деда. Нэно пожал плечами.

— Ангар не жалко. Если сломаете чего — починим.

Мы вышли в ночной посёлок. Артур молчал почти до самой трассы. Дойдя до асфальтированной парковки, наконец сказал:

— Я тоже такое хочу построить. Когда-нибудь.

— Построй, — я пожал плечами. — Дед говорит, построить можно всё. Вопрос — зачем.

— Чтобы доказать, что можешь, — просто ответил Артур.

Я кивнул. Мы попрощались, и мой новый товарищ пошёл к автомобилю. Я остался стоять у спуска на набережную, глядя ему вслед, пока красные огни «мерседеса» не растаяли за поворотом.

Я постоял ещё минуту, слушая, как море шуршит галькой внизу, и пошёл обратно в ангар. Дед не выключил свет. Значит, ждал.

ГЛАВА 3. Посейдон

Хлёсткий дождь пытался проникнуть сквозь синтетический корунд фасада «Посейдон Индастриз» — миллиарды капель разбивались о невидимую броню, стекали мокрыми дорожками, не оставляя следов. Подгорица утопала в осенней мути, но с этой высоты была лишь схемой, выложенной из неоновых артерий и тёмных бетонных массивов, — город-инструкция, которую кто-то забыл прочитать до конца.

Башня — игла, воткнутая в сердце континента. Инъекция в будущее. Здесь, в пентхаусе, решали, каким оно будет. Посреди огромного зала, за столом из композитного сланца, сидели десять человек — десять жрецов корпоративного бога, чья истина записана в патентах, чья вера измеряется в процентах годового роста, а молитва звучит как «следующий квартал».

Самый ценный актив, технология номер один — процесс расщепления, на котором стоял весь современный мир. Морская вода в топливо. Не просто гидролиз — эlegantный, почти тихий распад молекулы на составляющие с утилизацией всего спектра микроэлементов: редкоземельных, лития, дейтерия. Всё, что нужно для батарей, экранов, двигателей. Формула Нэно Дворчака. Уравнение с одним неизвестным: последовательность управляющих импульсов, которую он называл «дыханием реактора». Она родилась на стыке интуиции и громадного опыта — как мелодия, которую можно вспомнить, но нельзя записать нотами.

Артур стоял перед советом, ощущая на себе выжидательные взгляды — десять пар глаз, привыкших, чтобы им докладывали, угождали, говорили «да» раньше, чем они спросят. Позади него на огромном экране извивались сине-зелёные графики — динамика рынков, кривые добычи, политические риски. Красивые линии. Хотя ни один график не показывал главного: что происходит в голове у человека, который лежит в капсуле и пытается вспомнить азы моторики.

— Модуляция резонансных полей позволяет выявлять структурные слабости до их проявления, — голос Артура уверенно перекрывал шум непогоды. Он тренировал эту уверенность три дня: перед зеркалом, перед пустым креслом, в котором представлял отца. — Мы переходим от устранения последствий к стратегическому предвидению. Это качественно иной подход к управлению рисками.

Тишину нарушил глухой, скрипучий бас, не нуждавшийся в микрофоне, сам голос был инструментом давления.

— А это, я так понимаю, новый уровень капиталовложений?

Велько Крешич не поднял головы от планшета. Его пальцы — узловатые, с припухшими суставами и пожелтевшими от времени ногтями — лежали на столе неподвижно. Только большой размеренно поглаживал указательный. Жест, который Артур видел сотни раз. Жест, означавший: «Я слушаю. Я всё запоминаю. Я ещё вернусь к этому».

— Ваши финансовые прогнозы плавают. Требуются чёткие опорные точки. Гарантии окупаемости.

Артур выдержал паузу, давая членам совета переварить возражения оппонента. Он ожидал сопротивления именно от этого человека. Крешич официально не был сотрудником корпорации — он возглавлял семейный траст Бранковичей, владельцев контрольного пакета акций «Посейдон Индастриз». Но все знали: без его кивка не проходит ни один крупный бюджет.

Дав звукам стихии заполнить пространство — дождь за окном вдруг стал громче, будто сама погода хотела сказать то, что люди не решались произнести, — Артур продолжил:

— Чтобы фиксировать колебания в атомарной решётке нового поколения катализаторов, требуются сенсоры исключительной точности. Их производство — штучная работа. Испытания требуют идеально контролируемых условий. Без вибраций, без человеческого фактора. — Он сделал паузу, давая цифрам осесть. — Мы можем гарантировать стабильность, только

если уберём из уравнения переменную, которая не поддаётся калибровке. А эта переменная — человек.

— А где Дворчак? — голос Вукотич, директора по персоналу, прервал доклад. Радмила говорила мягко, почти ласково — тем тоном, которым взрослые спрашивают детей, почему они не сделали уроки. — Его специализация — именно подобные инновации. Ключевые модификации реакторов. По нашим данным, его не видели на основном производстве в Которе четыре месяца.

Артур не моргнул. Он готовился к этому вопросу и репетировал ответ десятков раз, пока тот не перестал звучать как ложь даже для него самого.

— Лука на испытательном комплексе. Погружён в работу над новым проектом. — Голос был ровным, как линия горизонта. — Он не отвлечётся, пока каждый параметр не будет верифицирован. Передаёт свои сожаления.

«Испытательный комплекс». «Калибровка». Щелчок автотона под манжетой прозвучал точно сработавший механизм. Запись сеанса. Артур знал, что автотон пишет каждое слово, он сам настроил его. На всякий случай. На тот случай, если однажды понадобится доказательство того, что он не говорил того, что говорил.

Крешич поднял глаза. Удивительно, но Артур заметил в этих ледышках — интерес, так смотрят на деталь, которая может не подойти к механизму. Не бракуют — просто отмечают, запоминают, кладут в ячейку с надписью «потом разберёмся».

— Совету требуется абсолютная прозрачность. Бюджет — это не безбрежный океан для исследований, а целевой канал финансирования. Нам требуются контрольные точки. Порт назначения, так сказать. И гарантии, что ваши эксперименты не приведут к непредвиденным турбулентностям на наших рынках.

Он снова опустил взгляд в планшет. Палец замер. Артур почувствовал, как желудок сжался в узел — спазм, который случался перед экзаменами в университете, перед тем, как отец вызывал его в кабинет для «разговора».

Крешич не сказал «нет». Он просто слушал. А это было хуже.

— Прежде чем мы продолжим, — голос Мико Бранковича прозвучал впервые за вечер. Он сидел во главе стола, чуть в тени, так что лицо его было наполовину скрыто, наполовину подсвечено снизу экраном планшета. — Я хочу, чтобы все присутствующие понимали масштаб преемственности.

Он нажал кнопку. На центральном экране, поверх графиков, проявилось другое изображение: старая фотография, сканированная с плёнки, зернистая, с выцветшими краями и тем особым качеством света, которое бывает только на снимках, сделанных до того, как цифра научилась врать. Нэно Дворчак, ещё молодой, стоял у аппарата, напоминающего болид с прозрачной крышкой. Рядом — двое инженеров в белых халатах. Лица смазаны временем: не узнать, не вспомнить, не найти.

— Проект «Слепок», сорок девять лет назад. Попытка сохранить технологию для будущих поколений. Нэно Дворчак согласился добровольно. Думал, это поможет науке. — Мико сделал паузу.

Тишина в зале стала плотнее, чем на глубине океана.

— Сеанс шёл по сценарию. Но оборудование в итоге вышло из строя. — Он щёлкнул пальцами — резкий звук, от которого несколько членов совета вздрогнули. — Данные рассыпались. Мы получили только шум. Помехи. Обрывки, которые невозможно сложить в осмысленную картину. Личность умирает, Артур. Её нельзя скопировать.

Отец посмотрел прямо на сына — взглядом тяжёлым, измеряющим, каким смотрят на чертёж, в котором уже заметили ошибку, но хотят проверить, заметит ли её тот, кто этот чертёж принёс.

— Твой проект «Икар» — не первый. Но, как я понимаю, у тебя есть действительно готовое решение?

Артур уверенно кивнул. Знакомое чувство — когда язык говорит «да», обгоняя разум, но голосовые связки уже приняли решение без тебя.

— И всё же, — голос Вукотич сочился ехидством, — как частота связана с плазмой? Или мы принимаем это на веру?

Артур выдержал паузу. Слишком хорошо знал этот приём: вопрос не для ответа — для давления.

— Сорок герц — резонанс молекулы воды в плазме. Мозг оператора входит в этот ритм, синхронизируется с реактором. Квантовая когерентность на макроуровне. Нэнно Дворчак назвал это «дыханием».

— Красиво. — Вукотич улыбнулась. — А цифры есть?

Артур взял паузу, ощущая, как взгляды совета переместились с цифр на него самого.

— Она совпадает с резонансной частотой молекулы воды в плазменном состоянии, — объяснил он, стараясь говорить ровно. — Когда мозг оператора, прошедшего специальную калибровку, входит в этот ритм, его электромагнитное поле начинает синхронизироваться с пульсацией ионизированного газа. Возникает квантовая когерентность на макроуровне. Простыми словами: мы учимся дышать в такт с реактором. Нэнно Дворчак открыл это явление случайно, наблюдая за выбросом плазмы. Назвал его «плазменной кавитацией». Мы научились его использовать.

Он замолчал, давая цифрам и фактам осесть в головах присутствующих.

— Мы гарантируем стабильность системы. Не только устраняя физические сбои, но исключая саму возможность ошибочного решения. На пилотном участке в Плоче — предварительные данные. Через квартал — полный отчёт. Снижение аварийности на тридцать процентов. Снижение числа сомнительных операторских решений на пятнадцать. Твёрдый, измеримый результат.

Цифра повисла в воздухе — тридцать. Десять пар глаз перестали блуждать, сфокусировавшись на этой новой величине. Тридцать процентов — не просто цифра. Это аргумент. Оправдание. Разрешение.

— Тридцать — это серьёзно, — наконец сказала Вукотич. Её голос звучал всё так же мягко, но теперь в нём появилось иное: любопытство, — однако меня интересует другой параметр. Лояльность. В Дубровнике и Плоче — не просто сбои. Там брожение. Люди — переменчивый фактор. Ваша «коррекция» работает с физическим движением. А что насчёт вектора мысли? Может ли она работать не со сбоем, а с самой мотивацией? Считывать не ошибку в движении руки к клапану, а ошибку в намерении? Чтобы сама мысль о неподчинении, о срыве плана воспринималась оператором как абсурдная? Мы строим не просто инфраструктуру, Артур. Мы формируем порядок.

Она улыбнулась. Улыбка вышла короткой — тень, не больше. Но Артур успел увидеть то, что пряталось за ней — убеждённость. Она действительно верила, что порядок важнее свободы. Порядок можно измерить, а свободу — нет.

Артур сглотнул. Ком в горле не проходил.

Сценарий, который они с доктором Ивошевич обсуждали лишь в гипотетической плоскости, был выложен на стол так буднично, как спецификация на новый насос.

— Технология находится в стадии становления, — фраза звучала отрепетированной. Она и была отрепетирована сто раз, двести, пока не перестала вызывать тошноту. — Мы учимся считывать базовые паттерны стресса. Вмешиваться в семантику мысли — это иная область, гипотетическая, и она таит колоссальные риски, в том числе репутационные. Это был бы не инструмент, а оружие.

— Ты говоришь о предвидении сбоя в станке, — подал голос Крешич. — Я спрашиваю о предвидении сбоя в системе. Может ли твоя разработка увидеть такую раковую клетку?

Артур молчал.

Крешич криво усмехнулся — странная улыбка, словно челюсти разрезал скальпель хирурга.

— Ты думаешь, я монстр. Я видел, как Нэно спрятал формулу, испугавшись. Мир без энергии — голод и войны. Я хочу, чтобы человечество выжило. Для этого нужен контроль.

— Прими нашу стратегическую цель за ориентир, — жёстко перебил Мико, возвращая управление разговором.

В его голосе не было сомнений, только констатация: решение уже принято.

— Сначала мы докажем, что можем лечить. Позже посмотрим, что можем совершенствовать. Твои тридцать процентов — хорошее начало. А пока — действуй.

Артур ничего не ответил. Он слушал не слова, а голос отца, звучавший как старая пластинка, которую ставили слишком много раз: вроде бы та же мелодия, но игла уже протёрла бороздки, и сквозь музыку пробивается шипение — тихое, неотвратимое, как воздух из проколотой шины.

Мико кивнул. Это был особый кивок, который Артур знал с детства. Им отец заканчивал разговоры, не имевшие смысла продолжать.

Артур кивнул в ответ. Он не заметил, когда научился этому. Наверное, это происходит само: как начинаешь ходить отцовской походкой, как повторяешь его словечки, как однажды ловишь в зеркале его взгляд вместо своего.

Совет стал расходиться — шаги, сдержанные голоса, — Артур проводил отца и его свиту до лифта. Мико лишь бросил быстрый взгляд на сына, продолжая что-то говорить директору по безопасности. Двери закрылись, превратившись в зеркало.

Постояв секунду, он повернулся к панорамному окну. Дождь стекал по стеклу, искажая отражение: человек в дорогом костюме таял в потоках воды, превращаясь в смазанное пятно на фоне неоновой города. Артур смотрел на это лицо — чужое, с плотно сжатыми губами, и чувствовал под языком привкус только что сказанных слов. «Передаёт свои сожаления». «Снижение числа сомнительных решений». «Добровольный, глубокий, постоянный нейроинтерфейс». Фразы оседали в горле известковым налётом, как пыль на старых чертежах.

Запястье дёрнулось — первый сигнал автотона, тихий, на грани слышимости, будто где-то в серверных шкафах «Икара» повернулся невидимый маховик. Или просто датчик зафиксировал учащение пульса. Или просто напомнил, что пора делать запись. Или просто...

Артур прижался лбом к стеклу. Холод идеально остужал то, что кипело внутри. Мир за окном, балансирующий на энергии, которую умел добывать только Дворчак, казался сейчас хрупким, как слюда. Одно неверное движение — и он рассыплется. И никто не сможет собрать осколки, потому что никто не помнит, как они выглядели до того, как разбились.

Заседание схлопнулось, оставив лишь остаточное свечение погасших экранов — призрачные силуэты графиков, которые ещё секунду назад казались такими важными, а теперь исчезли.

Велько Крешич не двинулся с места. Он сидел в опустевшем зале, положив руки на стол, сверля взглядом пустой экран, где только что висела фотография полувековой давности.

Нэно когда-то сказал ему: «Ты не понимаешь, Велько. Энергия — это власть. А власть возвращает».

Он не ответил тогда. Он был молод, зол и уверен, что изобретатель просто боится будущего. Но сейчас, спустя полжизни, слова всплыли — ясные, как в день того разговора.

«Ты был прав, Нэно. Только ты не видел того, что видел я. Пустые холодильники. Детей, которые умирали от того, что нечем топить. Ты испугался и спрятал формулу. Я выбрал меньшее зло.»

Он поднялся — тяжело, опираясь на подлокотники, чувствуя, как отзываются болью суставы локтей. У двери обернулся. Зал был пуст, экраны темны, только дождь продолжал хлестать по стеклу, разбиваясь о невидимую броню башни — миллиарды капель, ни одна не способна проникнуть внутрь. Такой была и его жизнь: сплошная броня, сквозь которую не проходило ни капли сомнения. Почти.

Вертолётные огни разлетелись прочь от башни, растворяясь в ночном небе — красные, зелёные, белые точки, которые на секунду зависали над городом и падали вниз, к домам, к людям, не догадывающимся, какое будущее им сегодня придумали.

Двери лифта сомкнулись за спиной Радмилы. Кабина провалилась вниз, и тишина навалилась такая, что собственный пульс отдавал в виски громче, чем только что стихшие голоса совета.

Её кабинет располагался этажом ниже — достаточно близко, чтобы быть под рукой, и достаточно далеко, чтобы не чувствовать постоянного давления власти. Она вошла, не включая верхний свет. Только настольная лампа под зелёным абажуром выхватывала из темноты полированную столешницу, аккуратные стопки бумаг и фотографию в простой рамке: пожилая женщина с усталыми глазами у калитки деревенского дома.

Она опустила в кресло, не снимая пиджака. В ушах всё ещё держался собственный голос: «Люди — переменчивый фактор». И ответ Артура, обжигающе ровный: «Это был бы не инструмент, а оружие». Наивный мальчик. Всё вокруг уже давно стало оружием: деньги, информация, молчание. Она просто умеет с этим жить и научилась не задавать вопросов, на которые не хочет знать ответов.

Радмила набрала номер. Длинные гудки пошли гулять по линии — раз, два, три, — и на третьем щелчке ответили ровно, по-служебному, тем голосом, который не выдаёт ни эмоций, ни времени суток, ни того, спал ли человек до звонка или ждал его:

— Ждана Попович, склад временного хранения, слушаю.

— Архив Дворчака уже привезли?

— Сегодня утром, госпожа Вукотич. Из дома усопшего. Один контейнер, опечатан. Ожидаем распоряжений.

Радмила помедлила, глядя на своё отражение в тёмном окне. За стеклом — ночной город, россыпь огней, каждый из которых чья-то жизнь. Перед глазами стояли другие лица: тощие девочки в серых комбинезонах, зачисленные в центральную лабораторию в начале месяца, — девочки с цепким немигающим взглядом, идеальный портрет в рамке должностных инструкций. Те, кого семь лет назад приказали пометить в базе «Посейдона» как «перспективный актив» и сразу зачислить в проект «Икар». Она не спрашивала зачем. Она научилась не спрашивать.

— Не вскрывайте, — в голосе скользнула та осторожная расчётливость, что позволяла ей выживать в совете столько лет. Не страх — опыт. — Я заеду сама. Завтра утром.

— Будет исполнено.

Она отключилась, положила трубку рядом с аппаратом, не глядя. Взяла фотографию матери, провела пальцем по стеклу — коротко, бережно. Вернула на место, открыла нижний ящик стола. Там, под папками с отчётами за прошлые годы — упаковочная бумага, пластиковые разделители, — лежал плоский кейс из матового металла. Четыре цифры на замке: дата рождения матери. Ничего оригинального, но достаточно, чтобы никто не угадал. Крышка

щёлкнула, приподнялась, открывая взгляду стопку старых кремниевых пластин, тонких как лезвие, и портативный ридер к ним.

Её личный архив. Страховка. Данные на каждого члена совета, на каждого ключевого инженера, на каждого оператора, прошедшего через её кабинет. Даже на Мико Бранковича. Особенно на Мико Бранковича. В этом мире нет более опасного врага, чем человек, которому ты доверяешь, и нет более ценного актива, чем его тайна.

Сорок девять лет молчания Нэно. Интересно, что старик прятал в своём доме? Что-то, отчего Крешич нервно поглаживал пальцы? Что-то, что может оказаться ценнее всех патентов «Посейдон Индастриз»?

Она закрыла кейс, убрала обратно, задвинула ящик и посидела неподвижно ещё минуту, глядя в тёмное стекло. Подумав, снова сняла трубку телефона и нажала символ «повтор».

— Ждана? Это снова Вукотич. Кто сейчас возглавляет профсоюз в Плоче?

Пауза. Шорох бумаги. Щелчок клавиши.

— Стане Илич. Сорок два года. Стаж на производстве — пять лет. Двое детей, жена в декрете. Жалоб нет, приводов нет, характеристики положительные. Но в последние три месяца посещал четыре собрания, которые служба безопасности классифицировала как «потенциально конфликтные».

Радмила кивнула — в пустоту, в темноту, в своё отражение, которое кивнуло в ответ.

— Завтра пришлите мне его личное дело. До обеда.

— Будет исполнено.

Она положила трубку. Выключила лампу. Комната утонула в темноте, и только огни города за окном продолжали гореть — равнодушные, далёкие, прекрасные. Радмила посидела ещё несколько минут, собираясь с мыслями. Поднялась, поправила пиджак, взяла сумку, у двери обернулась. На секунду ей показалось, что фотография матери смотрит на неё — внимательно, как смотрит тот, кто знает ответ, но не хочет его подсказывать.

Она выключила свет и вышла. Дверь мягко встала на место.

ГЛАВА 4. Смотритель

Монотонная капель — слепой метроном, отсчитывающий последние секунды умирающего дома. Она падала с прогнившей кровли на раздробленный кафель в углу прихожей, и пустое эхо уносило этот звук в тёмные коридоры, где он терялся, не находя ответа.

Осень размякла на земле бурым ковром гниющего гербария — листья превратились в труху, смешались с грязью, и уже нельзя было разобрать, где кончается природа и начинается разложение.

В комнате на втором этаже, где единственное стекло срослось с пылью и паутиной в мутную массу, пропускавшую свет как сквозь грязный бинт, пахло временем. Не Историей — нет. Историей пахнут старые казармы и походные костры, порохом и потом, победой и поражением. Здесь же пахло простой, безысходной затратой дней: осыпающейся штукатуркой и кислым, металлическим дыханием пустых гильз в углу — напоминанием о том, что когда-то здесь была жизнь, а теперь только ожидание.

Маркус закурил. Сигарета в полумраке вспыхнула жалким протестом против всеобщего угасания — маленький оранжевый цветок, распустившийся на секунду и сразу увядший. Дым — единственное, что ещё двигалось здесь по своей воле. Он тянулся к потолку ленивыми кольцами, сливаясь с тенями, копившимися по углам, словно обрывки памяти, которые не могут сложиться в целое.

Товарищи? Слово рассыпалось в труху, едва коснувшись языка. Они остались в другом эшелоне времени: молодые, небритые, делящие последнюю пачку «Дрины». Случайная подборка тел, которую на коротком отрезке называли ротой, а впоследствии легко разобрали на дробь.

Отнять сон — глубокий, без сновидений, когда просыпаешься не от крика, а потому что выпался. Отнять здоровье — лёгкие, помнящие осколки, колено, предсказывающее дождь точнее метеосводок. И вычесть из себя всё, что осталось: привычку смотреть на двери, умение замирать по первому щелчку, рефлекс падать на звук, похожий на свист. Оставить в промозглом доме, где единственным свидетелем становится неумолимая капель. Она не утешала. Она протоколировала убыль — капля за каплей, день за днём, пока однажды не окажется, что и записывать нечего.

Он придавил окурок о подоконник. Дерево, испещрённое чёрными кратерами от сотен таких же потушенных сигарет, беззвучно приняло новую окалину — покорно, как принимало всё.

Злость — химическая реакция, на которую не осталось реагентов. Когда-то она горела ярко, согревала, заставляла двигаться. Теперь просто пепел. Оставалась костная усталость, сросшаяся со стальным стержнем хронической боли и нестихающим звоном.

Время до встречи растянулось резиновой петлёй — медленно, мучительно, сжимаясь вокруг горла. Сидеть, слушая капель, — значило сойти с ума. Идти — признать уязвимость.

Внизу, на кривом гвозде, вросшем в балку, висела полевая куртка. Отсыревшая ткань впитала все запахи минувших лет: пот, машинное масло, дождь, порох — единый невыводимый аромат, который невозможно описать, но можно узнать с закрытыми глазами. Он надел её. Ткань привычно легла на плечи вторым слоем кожи. Дверь подалась с низким стоном — дом вздохнул, выпуская его, как выпускают застоявшийся воздух из лёгких. Ветер немедленно налетел, шаря по карманам. В правом — сквозняк, в левом — смятый ком телеграммы с размытым штампом.

Коноба в Язе в межсезонье пустовала — те несколько столиков, что летом занимали туристы, сейчас стояли сиротливо, покрытые тонким слоем пыли. Запах вчерашней рыбьей чорбы

смешивался с хлоркой и солью, въевшейся в дерево так глубоко, что никакая уборка не могла её изгнать. Маркус сидел у окна, наблюдая, как редкие остатки дождя разбиваются о тёплый асфальт набережной — летние камни ещё хранили тепло, и вода, касаясь их, превращалась в пар. На столе — недопитый стакан ракии и пачка «Дрины». Он курил уже третью сигарету, хотя обещал себе бросить — как обещал каждое утро последние семь месяцев.

Вахта на северном терминале «Посейдон Индастриз» закончилась «сокращением штата» — красивой формулировкой, за которой пряталась простая реальность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.